

# У ПОДНОЖЬЯ СЕРЫХ СКАЛ

Как и у многих, сознательная жизнь моя началась вместе с бабушкой. Ольга Александровна Ворожцова, дочь сибирского купца средней руки, учительница по профессии, а по моей памяти — энциклопедистка... «Моя бабушка знает все!» — таково было первое убеждение в жизни.

Преподавательница Иркутского сиропитательного приюта... В русско-японскую — санитарка в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина... Вместе с какой-то великой княжной, подруги... Потом первая на Байкале метеостанция в том самом Маритуге, где пройдет мое детство... Девятый ребенок в семье, она одна переживет революцию (два брата бесследно пропали где-то на сибирских просторах с отрядом каппелевцев<sup>{1}</sup>). С моим дедом, белорусом по происхождению, расстанется в те же революционные годы, и дальше всю жизнь с нами — с моей мамой и со мной...

Это она научит и приучит меня ко всему, что нужно детству — от трех лет до одиннадцати. Первое и главнейшее — жить с книгой. Она же в самом моем раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с «царя Салтана», трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человечьей злобы — и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии дожди, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего.

«Как ныне собирается...» знал в восемь, «Песнь про купца...» — в девять, в это же время — «Та-

рас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Тютчев, Майков, Полонский — это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского — словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие песни — перед сном. Мировой оперный репертуар — весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романтики народовольчества, и некрасовский плач о страдальце-народе образом «несжатой полосы» прочно окопался в душе, формируя ту самую «отзывчивость», какая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоем в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа все же ущербного, ибо без высшей явности духа — Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведано не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной. По молодости она компенсировалась особенным, иступленным отношением к Родине, в чем, безусловно, был изъян, поскольку в моем взыске к Родине первичной была требовательность: как у любимой женщины, у нее не должно быть недостатков. При обнаружении таких я испытывал почти физическую боль, потому что, в отличие от взаимоотношений с женщинами, которых любил, любви к Родине у меня не было, не могло быть, ибо в сознании вообще не существовало разделения на субъект-объект. Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но

сам вопрос остался бы непонятым по существу. Как можно любить или не любить то, чего крохотной, но все же неотъемлемой частью являешься сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей плохотой я уплошаю и все, от чего неотрывает.

И все же до десяти-двенадцати лет я воспитался интернационалистом в добром значении этого слова, если у него, у этого слова, вообще есть доброе значение.

Не только литература, то есть бессистемный и национально бесприоритетный выбор чтения, но главным образом — музыка. Вот уж где для меня действительно не существовало разделения на «наше» и «не наше».

Пока была жива моя бабушка, у нас в квартире еженедельно вывешивалось на стене около радиоприемника расписание радиопередач. Не всех, разумеется, — «Театр у микрофона» и концерты классической музыки. Классическая музыка входила в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца — дивный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остается. Нет, конечно, воспринять какую-нибудь оперу всю целиком (по радио) мне тогда было не под силу. Но отдельные арии и музыкальные фрагменты уже к двенадцати годам стали счастливой собственностью моей памяти, а музыкальной памятью я не был обделен, как и голосом.

Со стороны было, наверное, и умилительно, и смешно видеть и слышать, как мальчишка на скале над Байкалом, в беспомощно-театральном и наивном жесте протягивая руки перед собой, со слезами на глазах воспроизводит страсти Дубровского или Каварадосси...

Я знал наизусть десятки партий. Но были и самые любимые, в звучании которых мне слышалось и чувствовалось нечто такое, отчего по коже пробегал холодок, хотелось плакать счастливыми слезами. Еще хотелось взлететь и парить над ми-

ром с великой, необъяснимой любовью к нему — всему миру, о котором я еще, собственно, ничего не знал и не страдал от незнания...

Первые две фразы из арии Надира — «В сиянье ночи лунной ее я увидал» — приводили в трепет. Воспроизводил их стократно, вслушивался в свой голосок, в слова и пытался понять, почему они переворачивают мне душу, почему в сердце счастье, ведь мне нет никакого дела до этого самого Надира... Я даже не очень понимал, кого он, собственно, увидал «в сиянье ночи лунной» — в сочетании музыкальных звуков была магия, а слова будто лишь привязывались к музыке...

Или вот: вспоминаю и улыбаюсь. Я стою на вершине своей любимой скалы над Байкалом и возвещаю миру: «И что ж? Земфира не верна! Земфира не верна! Моя Земфира... охладе-е-ела!» Звонким мальчишеским голосом я не только с исключительной точностью воспроизвожу музыкальные фразы, но и тот вокальный нюанс, символизирующий перепад голоса на грани рыдания. Оперы я еще не знаю. Поэмы Пушкина тоже. Я лишь предполагаю, что должно делать по произнесении последней фразы, и самым логическим мне кажется — закрыть лицо руками и упасть как можно более плашмя. Я так и делаю, но я же на скале, и под ногами камни, плашмя не шибко-то выходит, колени и локти машинально выдвигаются вперед, и падение получается некрасивым. Но никто ж не видит... Можно и повторить...

Несмотря на столь раннее увлечение музыкой, я не стал ни музыкантом, ни даже просто знатком музыки. Целые области музыкальной культуры остались неосвоенными — камерная музыка, к примеру.

Однако ж и по сей день мне сложно, да и просто нежелательно фиксировать в сознании, что, положим, «Лунная соната» и «Рассвет на Москве-реке» написаны людьми разных национальностей, верований, разного менталитета, нако-

нец. А лет в девять мне было ужасно обидно, если кто-нибудь говорил, что «Три мушкетера» написал француз, — мне совсем ни к чему сие уточнение. Мало ли кто и что написал — важно, что здорово написано!

Притом, однако ж, следует иметь в виду, что был я учительский сынок. Более того — директорский сынок. Жили мы только на зарплату, то есть никакого подсобного хозяйства. И если всем детям нашего байкальского ушелья, помимо школы, расписаны были всякие и всяческие обязанности, то есть дела домашние, я подобных дел был лишен и потому имел тьму времени и лазить по скалам, и часами любоваться раскрасками байкальской воды, и сидеть над книжками, и часами пикивать на балалайке или на гитаре.

Если честно, я злоупотреблял отсутствием обязанностей, и потому по прошествии времени, а еще проще — по прошествии жизни, вглядываясь в себя тогдашнего, положим, пятнадцатилетнего, я не очень-то себе нравлюсь.

Популярна фраза: когда б начать жить заново, прожил бы жизнь так же.

Да ни за что! И дело не в досадных ошибках, каковых постарался бы избежать, и не в мелких проступках, от которых бы воздержался.

Советско-героико-романтическое состояние духа при абсолютном незнании жизни, самых существенных ее основ — таким вот полупридумком прыгнул я с крыльца отчего дома, что в глухом байкальском ушелье, — и прямо в самый что ни на есть поток той реальной жизни, что и осадила меня, и озадачила, и, что хуже того, с первых же самостоятельных шагов обидела досадным несоответствием сущего должному. Должному — в моем представлении о должном.

«Что у вас, ребята, в рюкзаках?» — из песенки моей юности. Ну и что же было в моем рюкзаке того времени? Фенимор Купер, Джек Лондон, Мамин-Сибиряк... Еще «Молодая гвардия» и... «Краткий курс истории ВКП(б)». Еще убеждение,

что повезло мне родиться и жить в самой счастливой, самой справедливой стране, к тому же самой необъятной «с южных гор до северных морей». Короче — в самой-самой-самой!

Не «самым» был только я сам. Учился в старших классах неважно, хулиганистым был весьма. Десятилетку окончил так себе. И Иркутский университет, куда нацеливали меня мои славные родители, — не про меня сие великопочетное учебное заведение. Так понимал. Или догадывался.

И потому, когда партия призвала советскую молодежь пополнить ряды органов по борьбе с преступностью (это после знаменитой амнистии 1953 года), я откликнулся. Без восторга. Откликнулся потому, что считал: там я прежде всего сам исправлюсь, так сказать, приду в соответствие...

Спецшкола МВД располагалась в бывшем монастыре на высоком берегу над рекой Камой, что в городе Елабуге. Великолепные храмы были приспособлены под спецпомещения. В одном прачечная, в другом — склад спортивного инвентаря... Нас, атеистов, сие никак не трогало. Помню, правда, возмущались, что в том храме, где прачечная, кто-то специально забрызгал расписанные стены краской. Видимо, просто брал ведро и плескал во все стороны, куда достать мог.

По первой же неделе нас, курсантов, повели на экскурсию в музей художника Шишкина, а потом на его могилу. И тут старичок (внешность не помню совершенно) поманил нескольких из нас в сторону и показал на запущенную могилу с плитой, почему-то углом воткнутой в землю.

— А здесь знаете, кто покоится? Марина Цветаева — вот кто!

Мы деликатно молчали. Мы не знали, кто такая Марина Цветаева.

То был 1955 год.

Отнюдь не демонстрируя образец курсантской дисциплины, именно там, в школе милиции, я скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял значение дисциплины как принципа поведения

и, через год покинув школу (о причинах чуть позже), остался солдатом на всю жизнь, что, конечно, понял тоже значительно позже. Но «солдатская доминанта» — да позволено будет так сказать — «срабатывала» не раз в течение жизни, когда жизнь пыталась «прогнуть мне позвоночник» и поставить на четвереньки... В курсантской казарме нашел я себе друга. Фактически на всю жизнь. Володя Ивойлов, из шахтерской семьи, был «белой вороной» среди нас, шалопаев. Фанатическая жажда знаний, культ книги, ни минуты без дела, постоянная строгая сосредоточенность взгляда — потянулся к нему, и мы сошлись. Я, помнится, составлял ему список книг, обязательных для прочтения: конечно, Джек Лондон, и в первую очередь — «Мартин Иден», Джеймс Олдридж — «Герои пустынных горизонтов», Максим Горький — «Жизнь Клима Самгина», Виктор Гюго — «Девяносто третий» и «Человек, который смеется», Чарлз Диккенс — «Записки Пиквикского клуба», Мамин-Сибиряк — «Хлеб» и «Золото», Вячеслав Шишков — «Угрюм-река»... Списки эти были на целые страницы. Он прочитывал — обсуждали, спорили. Затем вместе увлеклись философией, и первойшей нашей любовью был, конечно, Гегель. Его «Лекции по эстетике» мы конспектировали, ни в грош не ставя при этом соответствующие, как нам казалось, примитивные рассуждения на эти темы Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Не удовлетворенные уровнем образования в школе МВД, решили мы поступить на экстернат юридического факультета, отправили документы и приобрели нужные учебники, но именно в том 1955 году экстернаты были отменены, что повергло нас в уныние...

Но все бы ничего... когда б не знаменитый XX съезд!

На стене напротив тумбочки у моей кровати — две фотокарточки: девочка, в которую был влюблен с одиннадцати лет, что много позднее,

во Владимирской тюрьме, описал в книжке «Год чуда и печали», и вторая фотокарточка — Сталин. Боже! Как я любил его лицо! Как я любил смотреть на него... Просто смотреть — и все! Ни о чем при этом не думая. Его образ и был самой думой, как бы вынесенной за пределы моего «я».

Много позже я найду аналог тогдашнему моему чувству: Овод и Монтанелли из романа Войнич... Но то — много позже. Однако ведь и нынче нет-нет да приснится мне, что сидим мы с Иосифом Виссарионовичем на крылечке дома моего детства и беседуем о том о сем... И никаких тебе негативных чувств...

Лет в десять с дрожью в голосе спросил я как-то свою бабушку: дескать, не дай Бог, Сталин... ну... это... умрет! А кто тогда после него — сын его, да?

Помню, бабуля серьезно задумалась, очень серьезно, и ответила будто бы и не мне вовсе, а себе самой: «Всяко может быть. Может быть, и сын... Страна у нас такая... Хорошо бы...» Я был согласен. Это было бы хорошо. Или я был не монархист?

Бабушка о родителях своих вспоминала, как о божествах. Я своих родителей боготворил — были они самые честные, самые умные, самые трудолюбивые. Они уважали свое учительское начальство, а начальство их ценило.

Потому смею утверждать, что вырос в микромонархической среде.

В стране, где я возрастал, тоже все совершалось правильно, на зависть всему остальному человечеству. Недостатков была тьма. Особенно у нас, в нашем захолустье. Но посмотришь очередной киножурнал, что перед каждым кинофильмом, и понимаешь: когда-нибудь, может очень скоро, и у нас станет так же, как в Москве!

Потому что Сталин. Нет, не партия, про партию мне не все было ясно.

Стало совсем неясно после XX съезда.

Сначала таинственно зашептались меж собой

курсанты-партийцы. Знать, у них прошел какой-то полусекретный «сходняк». Первая статья в газете «Правда». И всего-то одна фраза: «...не отличаясь личной скромностью...» Это о Сталине!

Помню, вошел-ворвался в библиотеку. Налево курсантский читальный зал, направо — преподавательский. Нарочито громко, с вызовом возгласил: «Какая шавка посмела твякать на Сталина?!» Курсанты подняли головы, преподаватели, напротив, уткнулись в тексты.

А через день — общекурсантское собрание: Сталин при всех заслугах — преступник! И факты, факты, факты! Лагеря, тюрьмы, расстрелы, пытки! Это у нас-то — в стране всеобщей справедливости, в стране, где социализм — всему человечеству образец и зависть...

Вечером того же дня мы с моим другом Володи Ивойловым ушли в самоволку. В стороне от училища, на высоком берегу реки Камы, давно уже облюбовали толстущую, многоветвистую иву, куда частенько приходили и до того обсуждать наше с ним замечательное будущее в замечательной стране.

Но чего стоили теперь наши с ним личные планы, когда, как оказалось, совсем не все в порядке с самой СТРАНОЙ.

Нет, не вспомнить уже и не понять, почему, собственно, проблема СТРАНЫ оказалась для нас первичнее и важнее всего того мечтательно личного, что выпестовывалось в душах. Ведь в миллионах судеб наших сверстников никаких принципиальных срывов и обломов не произошло...

Когда, чуть позднее, в полном смысле «заболел идеей правды», заболел настолько, что ни о чем ином и думать не мог, тогда решил для себя, что — урод! Попросту урод! И надо жить, поступать и действовать соответственно этому врожденному уродству. Надо искать себе подобных — не один же я такой; искать и что-то делать, потому что если ничего не делать, то — подлость, трусость,

лицемерие, бесчестие, наконец!

С моим другом мы ушли из школы МВД, где корпоративные правила не позволяли нам «вольнодумствовать» — то было бы просто нечестно по отношению к ведомству, призванному выполнять строго определенную работу, не отвлекаясь на проблемы, способные дурно сказываться на выполнении профессиональных задач.

Володя Ивойлов поехал поступать в Ленинградский университет на философский факультет, не набрав нужного балла и завербовался в Норильск. Я поступил на исторический факультет Иркутского университета, откуда уже через полгода был исключен за попытку создания полуподпольного студенческого кружка, ориентированного на выработку идей и предложений по «улучшению» комсомола и самой партии, выявившей очевидную несостоятельность в осуществлении величайшего замысла — построения непрекраснейшего из обществ.

## БРАТСКИЕ УРОКИ

Исключенный из комсомола, изгнанный из университета с настоятельной рекомендацией — «познавать подлинную идеологию гегемона — рабочего класса», я именно так и поступил.

Сначала — рабочий путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге, затем бурильщик на Братской ГЭС — но все время один...

Именно там, на Братской ГЭС, узнал я, что являюсь соучастником первейшего в истории Страны Советов дивного эксперимента: осуществления великого строительства народно-хозяйственного значения силами свободных людей. Что, оказывается, до того все подобные и бесподобные замыслы осуществлялись исключительно многотысячными контингентами либо заключенных, либо военнопленных. И моя родная Иркутская ГЭС, и Куйбышевская, и Волгоградская, и Волго-Дон, и еще раньше Беломорканал, и прославленный на всю страну Комсомольск-на-Аму-

ре, и тысячи невеликих, но необходимых народу и государству строек и всякого рода реконструкций – все это не мы, советские люди, а как раз наоборот – несоветские. Хуже того – антисоветские!

Что всякие там враги народа и изменники должны нести наказание в той или иной мере – ну кто против того? То ж нелюди. Но за что ж им такая честь – строить великое здание социализма? И разве нельзя иначе? Строили бы общественные туалеты, хотя бы по той же Восточно-Сибирской дороге. А то ведь вечная проблема – один туалет где-нибудь на самом конце станции, куда и добежать не всегда успеваешь...

Уже не вспомнить, от кого впервые услышал слово «рабы». Кто первый сказал или намекнул, что «зэки» – по крайней мере, не все нелюди, что полно там безвинных, или без вины виноватых, или если и виноватых, то в пустяках... За «колоски», например. Или за сдачу в плен целыми армиями, забытыми или затерянными фронтами. По доносу и наговору, за компанию и по родству...

То была моя первая, а возможно, и единственная в жизни «ломка»: взламывался, раскалывался на части данный мне природой дар любви, я знаю – он был первичен!

Я любил Байкал, считал, что никто его так не любил, как я. Любил своих родителей, потому что они стоили того. Любил всех людей вокруг себя, правда, кого-то больше, кого-то меньше... Я любил свою страну... И Сталина, и всех, кто с ним, потому что они с ним...

Ненавидел фашистов, но к тому времени их уже не было. Недобро относился к американцам – вечно они какие-то пакости против нас умышляли... Да где им против нас!

Наша бригада бурильщиков располагалась в бараке, что на правом берегу Ангары, на самом краю тогда еще полупустого микрорайона под названием Братск-3. Оттуда, из глухомани, нам приходилось топать несколько километров в магазин, в кино, на почту. Кратчайшая, густо заме-

шенная грязью дорога проходила мимо небольшого вспомогательного котлована, обнесенного рядами колючей проволоки, почти вплотную с ней. Пару раз я уже ходил этим направлением, видел, конечно, и проволоку, и копошащихся внизу людишек, знал, что – заключенные... Но это как раз и были те самые формы видения и знания, которые никак не мешали мне жить исключительно личными проблемами. Меня никто не учил ТАК видеть и знать, то есть как бы не видеть и не знать, этот способ самозащиты от чужого страдания я получил по совокупности всего воспитания в советском обществе, где реальны только собственно советские люди, а несоветские – они как бы и не люди вовсе...

ЭТО меня не касается – вот текст того потаенного шифра, что был вмонтирован в мое сознание и политико-воспитательной работой, что с детсада начиналась и никогда не заканчивалась, и великой советской литературой с ее девизом изображать настоящее в свете будущего (школьная формулировка соцреализма), и, наконец, моими родителями, которые хотели мне добра и фиксировали мое внимание исключительно на вещах и идеях достойных и перспективных...

Однажды случилось идти вместе с бригадиром соседней буровой установки, немногословным мужиком лет сорока. Жил он от нас отдельно, в «балке» с семьей. Его жена, еще совсем молодая деваха, работала на нашей буровой коллектором. Ее «балдежная» влюбленность в «старика»-мужа вызывала у нас, что от девятнадцати до двадцати двух, что-то вроде сочувствия и некоторой досады, ибо нам, несмышленишам, она лишь приветливо-равнодушно улыбалась, а глядя на своего «старика», сияла и розовела, как спелое яблочко на солнышке.

Когда дорога, по которой топали мы с бригадиром в контору, выгнувшись дугой, запетляла вдоль «колючки», он вдруг остановился, выбрался из грязевой колеи на отвалы, прямо к «колючке»

примыкающие, и несколько раз громко свистнул. Последовав за ним, я увидел, как внизу в котловане несколько эков, как знакомому помахивая руками в ответ, идут к нашему краю котлована. Режим в этой зоне, видимо, был с послаблениями, потому что охранник (по-эковски – вертухай) на единственной вышке, что на другой стороне квадрата-котлована, никак не реагировал на общение и будто бы даже и не смотрел в нашу сторону. У людей внизу были какие-то темные лица, возможно, от перезагара, но казались они людьми словно другой расы. В одинаковых телогрейках-бушлатах, в одинаковых шапках – на таком расстоянии все на одно лицо...

Бригадир достал из сумки плитку зеленого чая и сильным размахом закинул ее за проволоку. Увязнув в глине, ээк там, внизу, поймать не сумел, долго елозил на глинистом наклоне, нашел наконец, и тогда только бригадир вернулся на дорогу.

Знать, что-то было на моей физиономии, потому что он ухмыльнулся нешибко добро, то ли спрашивая, то ли утверждая:

– Комсомолец...

Всего лишь полгода назад вышвырнутый из Иркутского университета и из комсомола, я почему-то не захотел откровенничать и ответил:

– Комсомолец. Ну и что?

По сути, не соврал, потому что духом своим из комсомола не выходил.

Бригадир кивнул головой в сторону «запретки»:

– Они... там... рвань? Да?

Я только плечами пожал:

– Уголовники.

– А ты спрашивал? А я вот... Похож на ээка?

– Не похож, – отвечал уверенно.

– Ну да. Червонец отмотал.

– Кто? – я даже остановился.

– Ну не ты же.

– Где? Вот там? – я повернулся лицом к «запретке».

А он вдруг обозлился:

– Чего там-то? На Луне, что ль, живешь... Везде! – и крупно пошагал вперед.

Потом, гораздо позже, вот это его «везде!» станет моим своеобразным рефреном к жизни, как горьковское «А был ли мальчик?».

Тогда же меня больше задел его как бы укор за «лунное» проживание жизни. Конечно, не на Луне я жил, а в стране советской, и я другой такой страны не знал, где б так жили... при всех «недостатках» советской жизни, до которых я «допер» к тому времени.

Шагая след в след бывшему ээку, чтоб лишней грязи в голенища кирзух не зачерпывать, стал припоминать конкретные места своего уже, как я понимал, немалосрочного проживания жизни.

Байкал... Михалево... Громадный лагерь... Однажды был массовый побег. Нам запрещали ходить в тайгу... Слюдянка... Зоны... Рудники... (Только через сорок лет узнаю, что именно там сгинул мой отец.) Иркутск... С любого бока зоны... Черемхово... Лагеря... Шахты... Тулун... Зона, тюрьма, поселения ссыльных... Нижнеудинск... Вроде бы не было... Поблизости, по крайней мере... Зато Тайшет... Это вообще... И еще эшелоны с конвоем и решетками... Их несчетно видывал во всех местах проживания. Одинаковые. Будто один и тот же гоняют туда-сюда по мере надобности... Ей-Богу, кажется, так и думал. Точнее, думанья не было. Мыслишка мимоходом...

После этого нашего необычного общения с бригадиром я какое-то время избегал ходить по той дороге, что мимо зоны. Но однажды, купив пачку чая, пошел. Свистеть умел не хуже бригадира, да только не сразу получилось. Советский человек во мне сомневался в правильности поведения, а несоветского человека во мне не было. Свист получился неважный. Но кинул точно. Камни в Байкал – первейшая забава детства...

И после еще несколько раз кидал. Но только

важно было другое: кидал я уже не экам, которые неизвестно что есть, но людям в эковской одежде.

Пройдет несколько месяцев, и я окажусь в Норильске, где вокруг меня будут тысячи бывших эков — от напарника-бурильщика до начальника спецпроходки, от продавца в магазине до коменданта общежития — бывшего лагерного барака... Тогда-то я и научусь смотреть на карту Советской Родины и видеть на ней вторую, непропечатанную, которую позже А. И. Солженицын назовет Архипелагом... Тогда же впервые возникнут у меня смутные предположения относительно того, что может наступить время расплаты общества за равнодушие к судьбе населения Архипелага.

Тем более что оттуда, из невидимого мира, уже разошлись по стране строки: «Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой». Не о Колыме же речь... При чем тут Колыма... Проклятие, что по языческому, что по православному верованию — вещь небеспоследственная.

Когда-то, очень давно, будто бы и не всерьез придумал для себя формулу, микроконцепцию, едва ли совместимую с православными истинами. Суть формулы в том, что количество зла на душу населения в единицу времени — величина постоянная.

Но величина эта блуждающая. То есть способна равномерно распределяться по участкам пространства, сгущаться, концентрироваться на отдельных народах и территориях, временно высвобождая другие от своего присутствия или делая его минимальным. Блуждания зла не самопроизвольны, но магнетируемы спецификой человеческого бытия. Совсем детский пример для пояснения.

Купил человек перочинный ножик. Чтоб карандашики подтачивать. Зло не реагирует.

Но вот он же залюбовался изящным кинжалом в лавке продавца. Кинжал ведь не для карандашников.

И порция резервно блуждающего зла на всякий случай пристроилась за спиной и ищет контакта с той ничтожной, но обязательной порцией зла, что в человеке от рождения по причине его несовершенства, поскольку несовершенство и есть потенциальное зло.

Нечто подобное с народами. Засмотрелся некий народ на блестящий идеал социальной справедливости, каковая только в идеале и безопасна, как кинжал, пока он в лавке продавца или на стене коллекционера. Но души, как и руки, жаждут осязать. И тут-то на эту жажду и подтягивается незримое облачко зла и в алкании вочеловечивания обволакивает соблазнившийся народ или инициативно пассионарную часть его. Глядишь, и вот уже «мчатся тучи, вьются тучи» и «невидимкою луна».. Пошло-поехало...

Через какое-то время — «вечор, ты помнишь, вьюга злилась... А нынче — погляди в окно...». Глянул — все вроде бы в обычном приличии. Но в окно, не через крышу. А крыша-то как раз и не та уже. Ливнем отстеганная, вроде бы как и поновее смотрится. А что осевшим злом, как миллионами рентгенов, пропитан каждый сантиметр площади, то простыми чувствами не просекаемо.

Люди под крышей — им что? Им жить надо, коль рождены для жизни. Вот и живут, как прежде, лишь незаметно мутируя. И крыша... Она же по закону сопротивления материалов только на определенные соотношения рассчитана, а соотношения нарушены. И однажды проваливается она внутрь дома, взметая пыль осевшего на ней зла. Чихают люди, пылью зла простуженные поровну промеж собой, крышу обвалившуюся проклиная, всякому чужому чихающему носу чиня обвинения в распространении заразы. И долго еще будут остатками крыши друг другу носы разбивать.

Осевшее злом зло не любит долготы однообразия. Прескучившись, начнет истекать из человеческих душ. Глядишь, вновь облачком над головами



сгустится и, в людском воплощении разочаровавшись, унесется прочь, где-то обернется тайфуном или землетрясением, чумой или проказой, озоновой дырой...

Как в народе говорят, никому «ни в жись» не догадаться, для чего придумал я такую вот ненаучную и неправославную сказочку. А все для одного — для оправдания государства, каковое по моему, опять же ненаучному, предположению, помимо всех известных отчетливо положительных функций берет на себя и еще одну, из-за которой и ломаются копья из века в век: государство забирает на себя, абсорбируя в аппарат, ту мощную долю зла, каковая «до того» или «без того» была или была бы рассеяна по пространству, государству подопечному.

Опять же простейший пример: государство казнит преступника, при этом строжайше запрещающая самосуд. И вовсе не потому, что самосуд может быть несправедливым...

Зло по определению присуще любой государственной структуре, но это то минимальное зло, какое имел в виду Гегель, когда говорил, что как бы государство ни было дурно, без него еще хуже.

По высшему (хотя и не религиозному) пониманию, государство есть не что иное, как способ самоорганизации народа.

Народ же, как совокупность несовершенных по природе индивидуумов, самоорганизоваться по совершенному образцу не может. Хотя бы по той причине, что таковых образцов в природе просто не существует. Они существуют в фантазиях в виде утопий, большей частью скалькированных с религиозных представлений. Человек или группа людей, сознательно или бессознательно совершивших такую подмену и предложивших сей прекрасный бред народу или человечеству в качестве программы действий, в прямом и переносном смысле становятся орудием дьявола, мирового инстинкта разрушения, или, говоря языком физики, подключают свою индивидуальную

и коллективную энергию к мировому процессу энтропии.

Правда, однажды, когда бывал в Сарово, в знаменитом Арзамасе-16, молодые наши физики-гении пытались мне, безнадежному гуманитарии, втолковать, что на уровне макрокосмоса будто бы открыт закон или процесс сопротивления энтропии, и потому сам по себе второй закон термодинамики теперь уже не должен рассматриваться как необратимый...

\* \* \*

Норильск — вообще особый эпизод в моей биографии. Если сознавать, что судьба человеческая складывается из тысяч значимых и малозначимых обстоятельств, то Норильск в этом ряду в первейших и значительных. Не более года пробыл я на этом гулаговском острове, но в памяти — эпоха. Эпоха важнейших открытий и пониманий, последствия их просматриваются с очевидностью.

Как уже сказал ранее, мой друг по Елабужской школе МВД оказался в Норильске в итоге провала в ЛГУ. Звал. Заполярье! Рудники! А люди!

Я устроился проходчиком в рудник 7/9. Поначалу — подсобные работы, потом помощником на скрепере, потом проходка...

Помимо всего прочего увиденного и пережитого в Норильске, именно там внезапно как бы возродилась и затлела тихой сердечной болью одна моя личная, почти тайная проблема — проблема отцов. Так вот — не отца, но отцов. Однажды уже писал об этом. Но повторяюсь, ибо это тема и славного града Норильска тоже.

## ФИЛОСОФСКИЕ СОБЛАЗНЫ

Дневного Норильска почти не помню. Ночь да ночь! И всего три места пребывания — общежитие, рудник, клуб.

Главный в клубе — киномеханик. Официаль-

но. Неофициально — наша небольшая компания, обеспечивающая молодежь рудничного поселка, как нынче принято говорить, развлекательными программами. Киномеханик доволен, и его до-вольством мы откровенно злоупотребляем.

Так сложился небольшой кружок, четы-ре-пять человек. Цель — проверить товарища Карла Маркса, так ли уж прав сей бородач, поло-жим, относительно классовой борьбы, прибавоч-ной стоимости, преимущества государственного капитализма и, главное — исторического гегемо-низма пролетариата. Реального гегемонизма, а не теоретически относительного.

Чего там! Без улыбки не вспоминается. Хотя бы то усердие, с каковым конспектировали стра-ницы «Капитала», как вгрызались в терминологию, как злорадствовали, наткнувшись якобы на противоречие, как пытались на минимуме ин-формации по марксовской схеме просчитать при-бавочную стоимость эксплуатации норильских шахт и рудников..

Притом мы по-прежнему оставались «ком-сомольцами» и советскими по духу, ибо главной нашей заботой было «исправление социализма», и, когда б такой путь существовал — я же помню! — жизнь положили бы на то без сожаления соот-ветственно социальному накалу наших душ; он, сей «накал», ей-Богу, был первичен по отноше-нию ко всему прочему, чем еще жили души наши. Девушки-девчата, гитары и заполярный самогон, драки с «чужими» — ничто не прошло мимо... Но вторично!

Любящие девушки уважительно считали нас «идейными», равнодушные считали «чокнутыми на политике». И те и другие были по-своему пра-вы. Много позднее я придумал-сочинил объясне-ние тому странному явлению «выпадания» таких, как мы, из общего тонуса нашего поколения, ко-торому уже и тогда все было «до лампочки». Суть придумки в том, что известны, к примеру, люди с повышенной болевой чувствительностью. Не-

нормальность. В некотором смысле — уродство. Но попадаются и люди с повышенной социаль-ной чувствительностью — это такие, как я. Из та-ких формируется разная революционная сволочь, готовая не только сама сгореть в костре полити-ческих страстей, но и подпалить все вокруг себя, поскольку утробный девиз худших из таких натур: все или ничего!

Когда же обнаруживается бессилие или вы-является бесплодие усилий, тогда, возможно, и рождаются строки, подобные таким вот: «Как сладостно Отчизну ненавидеть!»

Очень даже может быть, что я не прав, когда на лицах некоторых наших нынешних телечебу-рашек прочитываю это — почти зоологическое — отвращение к стране пребывания. Кто-то из тако-вых искренен в своих чувствах, кто-то попросту куплен для исполнения роли... Да и активные по-литики некоторые, причем разного окраса — так на их рожах и написано: «Либо все будет по-на-шему, либо...»

Но то уже проблемы дней смуты теперешней.

А без малого полвека тому назад... Подумать только! Почти полвека прошло! Но тогда, в конце пятидесятых, мы, девятнадцатилетние, добросо-вестно, хотя и исключительно на уровне инту-иции пытались формировать в себе, как нынче принято говорить, исключительно конструктив-ное отношение к Родине, поскольку были еди-ны, то есть даже не подозревали о возможности рефлексирования на предмет «Я и Родина». Все вокруг было наше, как в доме — все мое, и если в доме неуютно, то кому ж, как не мне, озаботиться да подсуетиться?

Именно тогда, когда копошились в марксиз-ме, когда, обнаружив в поселке под названием Нулевой Пикет букинистическую библиотеку — результат грабежа русской интеллигенции, — бессистемно, взхлеб зачитывались неизвестны-ми до того историками, философами, публици-стами, тогда определили в себе настоящую

потребность в системном образовании и летом 1958 года разбежались из Норильска. В отличие от моего друга Владимира Ивойлова я не решился штурмовать питерские вузы. В Иркутск путь мне был заказан, и с грехом пополам пристроился я в Улан-Удэнском пединституте на историко-филологический факультет. Другу же моему отважно-му опять не повезло, и он ушел в армию, как положено было по возрасту и гражданскому долгу.

Два года побыв в роли «нормального» студента, я заскучал, перешел на заочное и окончил институт на полтора года раньше. Женился, родилась дочь. Работал сначала учителем, а в двадцать пять — уже директором крупной школы. Все мне удавалось и давалось легко. Начальство меня ценило, и педкарьера, по мнению коллег, высвечивалась отчетливо...

А между тем то там, то тут натыкался я на следы «следающих» — история с Иркутским университетом кого-то, зоркосмотрящего, настораживала, и не зря. Потому что в действительности все, чем я жил, так сказать, на виду, было лишь игрой в жизнь.

Кажется, М. Горькому принадлежит открытие «зубной боли в сердце». Так вот, она, эта боль, окопалась в душе так основательно, что сомнений не было — все настоящее и стоящее еще впереди. Норильск, как обратная сторона бытия, так до конца не раскрытая и потому непонятая... От «зубной боли» я находил отвлечения не только в азарте работы, а уж азартен бывал сверх меры!

Философия как заявка и претензия на сверхмудрость, в нее занывивал, как в сон, в котором все чудно, многозначно и таинственно. Гегельянствовал! «Логику» Гегеля вычитывал, как роман с приключениями. Любимые книги того периода: помимо «Логики», «Лекции по эстетике» опять же Гегеля, «Критика чистого разума» Канта и... «Былое и думы» Герцена. Еще бы!

«Садилось солнце, купола блестели, город стался на необозримом пространстве под горой.

Так постояли мы, постояли и вдруг, обнявшись, в виду всей Москвы присягнули пожертвовать всей нашей жизнью на избранную нами борьбу!» (по памяти).

Правда, слово «борьба» я никогда не любил. Казалось оно выспренным и как бы преждевременным, в том смысле, что о борьбе можно говорить только во время борьбы, коль уж так случилось. И до сих пор не люблю этого слова, ни разу не использовал его применительно к себе, потому что нынче, в конце жизни, могу ответственно утверждать, что никогда ни с кем и ни с чем не боролся. Не было ее в моей жизни — борьбы. Было сначала несовпадение, потом противостояние и формально справедливое возмездие — а это иное! Хотя бы потому, что не я боролся, а со мной боролись...

Друг мой между тем, отслужив в армии, поступил-таки в Ленинградский университет на экономический факультет, и эта его бесспорно заслуженная удача фактически определила всю мою дальнейшую жизнь. Первый же наезд в Питер, общение в небольшой компании студентов ЛГУ поначалу на уровне обыкновенного философско-литературного «трепа», а далее с осторожными проговорами социальных проблем — вот и первая трещинка в монолите моей, как до того казалось, пожизненной привязанности к Сибири. Теперь Питер — цель, мечта...

Легко, с блеском сдав кандидатский минимум по курсу истории философии в том же Иркутском университете и тем же преподавателям, что десятью годами ранее изгоняли меня из него, как овцу паршивую, в 1965 году рванул из Сибири, чувствуя себя одновременно и ренегатом, и вольноопределяющимся по самому высокому смыслу жизни. Ведь оказалось — и разве это нормально? — что в мои двадцать семь в мыслях, в планах, в мечтах начисто отсутствует идея карьеры, то есть я никем не хотел быть. Я хотел знать! И, кажется, догадывался, что то знание, навстречу которому

ташусь из самой середины Бурятии, от станции моего недавнего пребывания под названием Гусиное озеро, в Питер-град, где мысль — ключом, а жизнь — водопадом, знание это чревато непредставимыми последствиями, а готов ли к ним, о том думать не хотелось.

Пока в своей деревне пробавлялся гегельянством, друг мой питерский вышел на тот пласт русской культуры, который писатель Юрий Трифонов по-советски хлестко поименовал «белибердяевщиной». Прибыв в Питер, я в эту «белибердяевщину» занырнул с головой и осенью того же 1965-го уже предложил аспирантуре философского факультета ЛГУ реферат о «кантианских мотивах у раннего Бердяева». Реферат был принят, но аспирантура не состоялась — не признали мой «кандидатский» по спецпредмету, о чем жалел я не очень, поскольку в это время...

Но об этом времени надо говорить особо, поскольку оно того стоит.

\* \* \*

Во-первых, отчего мы с другом так рвались именно в Питер, а не в Москву? Из провинциальной глубинки Москва виделась прежде прочего политической столицей, берлогой марксизма, где полудремотную лукавость вождей, их помощников и помощников помощников охраняют бесчисленные стражники, на одном пространстве с которыми невозможно пребывание и выживание ничего инакового. Еще стоит сказать о том, что в каменном лике своем сохранивший строй и порядок Питер-град, в отличие от растрепанной Москвы, как бы способствовал отстраиванию духовной дисциплины, необходимой для ответственного действия. Еще. В Москве была масса памятников архитектуры. Сохранившийся Питер памятником не осознавался, но — исторической территорией, где надо было всего лишь пустить корни.

Правда, со мной-то лично все было проще.

В Москве знакомых не имел, а в Питере уже заканчивал университет друг мой с времен елабужских, круг друзей которого и стал базой нашей первой «нелегалки», сколотившейся еще во времена моих наездов в Питер, в начале 1960-х. «Нелегалка» была типовой, словно срисованной с 60-х XIX века. Бесконечные ночные разговоры-споры, «съемный» домик в Шувалове, шрифт, выкраденный из типографии имени Клары Цеткин, симпатические чернила для переписки и главное — демократические ценности!

Первое, что приходит на ум человеку, догадавшемуся о несовершенстве бытия, — демократия. И даже не в смысле народовластия. Такое понимание демократии достаточно требовательно, оно понуждает к историческому поиску, к осмыслению народного опыта, провоцирует порой продуктивные ассоциации. Иначе говоря, не тормозит сам процесс политического мышления.

Демократия — даешь свободу! — нечто совсем иное. Самодостаточное. Логический принцип такого типа мышления — от противного.

Однопартийность? Даешь многопартийность!

Государственная собственность? Даешь частную!

Бесправность на митингах и собраниях? Хотим базарить!

Цензура? Долой!

Наша группа-компания пребывала на стадии изживания примитивного «демократизма», когда попала в поле зрения вездесущих органов. Срочно самораспустились. Трое непосредственно засветившихся рванули из Питера на Кавказ и какое-то время отсиживались в заброшенной ауле Дагестана. Оголодав, спустились с гор и через некоторое время тихо «просочились» в Питер. Органам было не до них. Вовсю шла разработка ревизионистской организации Хахаева-Ронкина, «зачистка» последствий дела Иосифа Бродского, а тут еще и свержение Хрущева и, соответственно, перетряска самих органов.

Питер же в лице его студенческой и послестуденческой молодежи к середине 1960-х «разбузился» как никогда. «Буза» была с хитрецей. Всяк, выбрав поле крамолы, тщательно обкапывал себя рвом аполитичности. Слова социализм, коммунизм, советская власть – не употреблялись. Говорили – структура!

Образцы: «Меня структура не интересует!» – свехосторожная позиция. «Я на структуру не работаю!» – позиция свехдзержкая.

Математики дерзили математической логикой, лингвисты – структуральной лингвистикой, экономисты – проблемой скрытого рынка в безрыночной структуре, философы-позитивисты – кибернетикой... Еще бы! Кибернетика объявляла сущностью вещей их организацию! Формулировки Норберта Винера произносились с придыханием.

Была даже «космическая» ересь, опиравшаяся на теорию академика Козырева, в то время директора Пулковской обсерватории. Опытнo обнаружив «четвертое измерение», Козырев будто бы открывал возможность решения единственно сущностной проблемы человечества – иммортализма, то есть бессмертия. Имморталисты жаждали видеть во всем мире одно государство, одну партию, одного вождя, чтобы все экономические и энергетические резервы бросить на космические исследования и посредством эйнштейновского «парадокса времени» достичь бессмертия.

Если это и был бред, то немногим больший прочих, потому что душа не терпит пустоты. Ни на мгновение!

Великий суррогат веры – социализм – истекал из душ по каплям. Капли ничтожных суррогатов немедля восполняли истечение.

Но если социализм и изживался, то не изживалась вдохновенность, из какой он вошел в мир и в души людские. Потому тогда, в шестидесятых, не наблюдалось того душевного маразма, столь характерного для времен нынешних. Напротив,

псевдообновление душевно-духовных объемов сопровождалось ярким всплеском энтузиазма, что, собственно, и получило впоследствии название «шестидесятничества», это о нем, об энтузиазме и не более того, тоска у тех, кому сегодня за шестьдесят. Тоска объяснимая, потому что подлинного обновления не состоялось по причине смертоносности травмы, нанесенной идеологией интернационализма в подлинном, то есть марксистском, значении этого слова.

Но жажда обновления, безусловно, была. «... Захотелось дерзостной новизны на свете. Захотелось врезаться в дело, как ракета. Захотелось дерзости мысли, звука, цвета... Чтобы нас насытили верой и доверием...» (С. Кирсанов – по памяти.)

По причине этой жажды металась молодежь по различным семинарам и симпозиумам, все озвученное там воспринимала, как и положено молодости, критически, раздражая и нервируя профессоров, тоже зараженных крамольным экспериментаторством.

На семинарах Шахновича лягали соцэкономику; у Свидерского под видом разработки теории структур пощипывали наиболее догматические установки диамата; на лекциях гегельянца Киселя подбрасывали каверзные вопросы по поводу ленинских определений государства; Игорь Кон, впоследствии окончательно свихнувшийся на сексе, остроумно озорничал в социологической сфере...

Один пример по памяти, кажется, из семинара Шахновича. Студент задает вопрос: «Маркс говорил, что воровство предполагает наличие частной собственности. У диких коммунистических племен не было воровства, потому что не было частной собственности. У нас воровство есть. Следовательно?...»

Мои новые друзья-питерцы, отупев в итоге от двусмысленности отечественной политической мысли, обратили свой алчущий истины взор на достижения западного ума, на те его хилые ручей-

ки, что просачивались «низом» из-под «железного занавеса».

От природы будучи нормальными, физически здоровыми особями, брезгливо отшатнулись от фрейдизма. Но зато хоть один сезон да погуляли с высоко поднятыми головами в вызывающих одеждах нищестанства. Другой сезон озорно резвились в волнах экзистенциализма, большей частью у берегов Хайдеггера и Кьеркегора, над Гуссерлем скучали, от Сартра подташнивало. Зато Габриель Марсель, или Ортега-и-Гасет, или Флюэллинг для некоторых остались памятными вехами на путях духоискания.

Но притом, увлекаясь кумирами Запада или отвлекаясь от них, мы интуитивно чувствовали их «объемное» несоответствие марксизму, каковой будто бы и отвергали принципиально, но только волей, а не умом. Тотальность марксизма, а точнее, социалистической идеи как таковой подталкивала на поиски «равнообъемной» идеи, и когда в середине шестидесятых наткнулись на русскую философию рубежа веков, произошло наше радостное возвращение домой. В Россию.

Что бы сегодня ни говорили обо всех этих «бердяевых», сколь справедливо ни критиковали бы их — для нас «веховцы» послужили маяком на утерянном в тумане философских соблазнов родном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы получили поначалу пусть только «информацию» (мы — позавчерашние комсомольцы-атеисты) о подлинной земле обетованной — о вере, о христианстве, о Православии и о России-Руси.

Но должен оговориться. Это случилось только с теми, кому повезло в самом раннем детстве в той или иной форме получить весомый заряд национального чувства. В этом случае имело место счастливое возвращение.

Однако ж были и другие, кому не повезло. Один из таких несчастных, и, к несчастью, еще и очень даже талантливый и по сей день знай себе смердит на радио «Свобода». Духовно обрезан-

ный, давится он, бедный, собственным отращением к бывшей Родине, будто сводит счеты с ней, не открывшейся ему своей сутью. Злобствует неистово, чаще всего по пустякам, ибо только сущие пустяки подсудны фрейдизму, на котором заклинился бывший питерский интеллектуал, по-настоящему образованный человек и блестящий эссеист...

Тысячи русских душ измордовал марксизм — величайшая утопия, вылупившаяся из хилиастической ереси раннего христианства. И только в наши дни на фоне безответственного разгула экспериментаторства в политике, в экономике, в культуре в полной мере постигаем мы степень смертоносной травмы, нанесенной и душевному складу, и духовному состоянию народа, — ведь как ни изошряться в отчуждении, от принадлежности к народу не отлучить ни наших нынешних очарованных Западом странников, ни «новых русских», ни тысячи сбежавших в поисках лучшей доли, ни тысячи оставшихся исключительно для участия в предчумном пиру.

На историю оглядываешься, прошлые беды видишь понятными. В будущее вглядываешься — робеешь...

А вот сорок лет назад я себя помню оптимистом. И не только молодость тому причина. Их, как ни странно, много было тогда — причин для оптимизма, главная из которых сегодня способна вызвать лишь недоумение: мы не верили в возможность принципиально бездуховного бытия в русском исполнении.

И потому казалось, что достаточно только своевременно поменять полюса. Процесс «смены полюсов» виделся как естественный процесс внутри общества, а вовсе не как итог инициативы некоего активного меньшинства, внедряющего или, хуже того, навязывающего обществу иные духовные ориентиры.

Возвращаясь к шестидесятым, следует сказать, что эти годы действительно имели своих «шести-

десятников», но не тех, кто нынче, что ни день, объявляют себя таковыми. От настоящих «шестидесятников» практически ничего не осталось. Даже памяти о них. Ее узурпировали те самые фрондировавшие «официалы», которые и нынче обустроены лучше прочих, и тогда не бедствовали во всех отношениях. Рассказы об их страданиях, о гонениях и преследованиях... слышать не могу, до того противно.

Но именно в те годы росли как грибы или как грибковая плесень в затхлом колодце общественного двоемыслия и кривостояния подпольные группки, группы и организации, члены и участники которых, не увидев в социалистической практике соответствия существующего должному или обещанно-завещанному, сделав торопливые выводы на сей предмет, немедля приступали к агитации в пользу своих скоропалительных мнений, либо, замкнувшись группой-кланом, углублялись в дебри марксистской софистики, отыскивая «главные ошибки», допущенные советскими вождями и теоретиками в реализации «вековой мечты человечества».

Уместно заметить здесь, что если социалисты сегодняшнего дня во всех бедах винят Горбачева, то социалисты шестидесятых считали, что роковые ошибки уже совершены и нас ожидает длительный и болезненный процесс гниения идеи, если... не принять чрезвычайных мер немедленно. Разница в том, что «чрезвычайные меры» по нынешнему пониманию — это тот или иной способ ужесточения ситуации, а «шестидесятники-социалисты» видели спасение в немедленной демократизации социалистической системы с неременным сохранением всех важнейших принципов социализма. Ни о каких видах национальных самоопределений тогда никто не помышлял. О националистических настроениях и движениях того времени речь не идет.

В целом, однако же, я вовсе не претендую на сколько-нибудь подробный обзор и анализ ина-

комыслия времен 1960-х. Мое «болтание» по Питеру было краткосрочным. Уже в ноябре 1965 года я работал директором сельской школы в Лужском районе, а еще с октября членствовал в организации Игоря Вячеславовича Огурцова, и питерские «идеологические шорохи» в сравнении с программой организации, в которую я вступил, виделись не более чем баловством интеллектуалов, утративших осторожность с периода так называемой «оттепели».

О состоянии умов в Москве, где к тому времени уже вполне сформировалось явление, позже названное диссидентством, информации у меня вообще не было. О «деле писателей» узнали одновременно с получением некоторых их публикаций на Западе. Особого впечатления они не произвели. Осуждение их восприняли как наказание за нарушение «правил игры» — несанкционированное выступление в западной прессе, да еще и под псевдонимами.

А вот кампанию в защиту их, Ю. Даниэля и А. Синявского, попросту просмотрели, увлеченные собственными делами. Событие же это стоило того, чтобы к нему присмотреться, поскольку именно оно послужило толчком и поводом к консолидации некоторой части московской интеллигенции, уже тогда (пока еще, правда, на уровне интуиции) ориентированной на «западные ценности». Сегодня эта «ориентация» научно обоснована, финансово обеспечена и политически выстроена таким образом, что кто бы во главе государства ни оказался, он автоматически становится заложником до него сложившейся расстановки сил. Это как если бы кто-то включился в шахматную партию, когда до него уже избран и разыгран дебют.

Но речь пока о годах шестидесятых, когда по причине фактической смены формы (только формы) власти, условно скажем, с авторитарной (сталинизм) на тоталитарную, интеллигенция получила кратковременную паузу на полусвобод-

ный вдох-выдох. То, что она успела выдохнуть, опасности для власти не представляло, но лишь при том условии, если бы она, власть, сама имела «творческий» потенциал к самосохранению. Такого не оказалось, постепенно властные структуры превратились в соучастников процесса распада, а затем, перехватив инициативу, возглавили его. Но только на последнем этапе! И это существенно.

\* \* \*

Облегченная трактовка нынешней смуты — рыба, дескать, гниет с головы. Голова здесь в роли предателя хвоста и туловища. Почти дословно, к примеру, у Станислава Куняева — «партийные вожди предали многомиллионную партийную массу». Относительно рыбы подмечено верно, не учитывается только при этом одна существенная деталь: гнить с головы начинает уже мертвая рыба!

Процесс умирания веры в социалистическую идею был подобен рыбьему умиранию — тих и почти незаметен...

«Мама, рыбка уже уснула, да?» — «Еще нет, сыночек. Видишь, она ротик открывает? Это она так зевает. И хвостиком шевелит...»

«Хвостовые судороги» и отчаянное «разевание ртов» применительно к состоянию общества к концу шестидесятых и далее, до начала восьмидесятых, и получили чуть позже название «диссидентство».

Только что партия коммунистов торжественно провозгласила: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» И неважно, что никто, решительно никто не верил в провозглашенное. Важно другое: то самое «нынешнее поколение людей» освоило способ жизни без веры во что-либо «торжественно провозглашаемое». Такое освоение свершалось на уровне элементарного инстинкта выживания. Оно же, выживание, диктовало (опять же на уровне инстинкта) ис-

креннее отталкивание от всякого формулирования этого самого всеобщего неверия.

Свершилось! На одной шестой части суши сформировался «новый советский человек» — будущий могильщик коммунистического режима.

Тщетно А. И. Солженицын призывал жить не по лжи. Поздно. Люди научились жить по «не вере». Причем все — от колхозника до члена Политбюро. Именно — по «не вере», а не по лжи, что, как оказалось, вовсе не одно и то же.

На фоне многомиллионного «нового советского народа» мы и нам подобные были выродки, уроды. Потому что нормальный советский человек по поводу своего неверия не рефлексировал. В том его особенность и неповторимость. В том же таился громадный разрушительный потенциал, каковой и выявился исключительно специфически, когда пришло время ему выявляться.

Банально мыслящие люди грезили великими потрясениями, народными бунтами, революциями и контрреволюциями. Но все свершилось фактически «втихую». Тихо жили по-советски, так же тихо от этой жизни отреклись.

Потом, позднее, когда оказалось, что «не так» жить еще хуже, частично сохранившие «пассионарность» торопливо, а порою и истерично закрутили шеями и возжелали назад, в то прошлое бытие, где при минимуме духовного напряжения можно было более-менее сносно жить. Но история свершается не по произволу богов, но по их попущению...

В шестидесятых была популярна песенка-шутка:

***Мы проснулись нынче. Здравствуйте!***

***Больше нет советской власти!***

Сочинивший эту песенку и ее исполнявшие подшофе и вообразить себе не могли, что все именно так и произойдет.

Наука проживания без веры, но с обязательным исполнением хотя бы критического минимума обрядов лояльности в последние десятилетия коммунистического режима достигла подлинно-



го совершенства. Ведь даже столь знаменитое: «Возьмемся за руки, друзья...» — один из рецептов лукавого душевного равновесия. А в молитве-то нашей как? «Но Избави нас от лукавого...»

И не лукавость ли стала определяющим стереотипом поведения советских людей последних советских десятилетий?

Двупостасен дьявол. Однажды он — Люцифер, богоборец, по-человечески красив он ослепляющей идейностью пафоса... Но, как кто-то верно сказал, пафос обратим в припадок. Долго жить в состоянии пафоса народ не может. И тогда Люцифер обращается в Аримана — в «Лукавого»... И, по главной христианской молитве судя, лукавость — самое пагубное состояние человеческой души.

Лукаво жили...

Иногда, правда, прорывался из кухонного окна отчаянный крик:

*Я не люблю, когда мне лезут в душу!*

*Тем более, когда в нее плюют!*

Но не любить и не позволять — все же разные вещи. Всякий отмеряет по себе. Разочарования, предательства — как без того... Но плевки в душу... Нет. Не помню... Хотя бы потому, что не подпускал к себе на расстояние плевка никого, способного на плевки.

<...>

## СТРАНА ГОТОВА — МЫ НЕ ГОТОВЫ

<...>

\*\*\*

По-модному мохнорылый телемальчик на одном из каналов ведет передачу, в которой поочередно повествует о знаменательных событиях каждого года последнего советского тридцатилетия. В передаче про год 1967-й — кадры празднования пятидесятилетия Октября. Не знает «мальчик», что празднование намечалось в Ленинграде,

куда должно было приехать все правительство. Тщательнейшим образом разрабатывался план мероприятий — от «штурма Зимнего» до массового шествия толп, от последней конспиративной квартиры Ильича до Смольного. Меж ростральными колоннами на Васильевском острове мечтали воткнуть тридцатиметровую статую вождя мирового пролетариата.

Не состоялось. В январе 1967-го питерский КГБ получил достоверную информацию о существовании в городе подпольной организации, ставящей своей целью ни больше ни меньше — вооруженное свержение Советской власти. В руки работников органов попала программа организации... Хотел бы я видеть выражение лица того первого «сотрудника», который эту программу прочитал...

Был в питерском университете один факультет, студенты которого, кажется, вовсе не были замечены в каких-либо крамольных импровизациях.

Но именно там, на восточном факультете, высидел свою неслыханную идею Игорь Вячеславович Огурцов — инициатор, основатель и автор всех программных документов первой после Гражданской войны антикоммунистической организации, ставящей своей конечной целью своевременное (то есть соответствующее ситуации) свержение Коммунистической власти и установление в стране национального по форме и персоналистического по содержанию строя, способного совместить в себе бесспорные демократические достижения эпохи со спецификой евроазиатской державы.

Чудеса бывают разные: Божественные, природные, коллективно рукотворные. Но случаются еще и социальные чудеса, ибо и по сей день, перечитывая текст, написанный в начале шестидесятых, я не могу взять в толк, в силу какой методики мышления человек моего поколения, мой ровесник, видевший мир и все, что в мире, так же, как

и я и все прочие мои сверстники, читавший те же книги и газеты, что и все мы, — как он, питерский интеллигент, как у нас говорили, «домашний мальчик» (положим, в отличие от меня — бродяги), как он смог обрести убеждение о неизбежности скорого краха своеобразного «тысячелетнего рейха» — социалистического государства, каковое даже по вере многих западных мыслителей было порождением прогресса, обреченным на загоризонтное историческое бытие!

Надо знать, надо вспомнить степень марксистской «загазованности» мозгов моего поколения, чтобы в полной мере оценить подвиг мышления Игоря Огурцова, учитывая при этом, что крах русского социализма не только был им предсказан, но и обоснован, объяснен внутренней органикой социалистического эксперимента.

Принципиальнейшее суждение — главная мысль — в тексте программы даже ничуть не выделено и не обосновано, как не нуждающееся в обосновании. При первом или скором прочтении его можно не заметить на фоне общей дерзости суждений. Более того, предполагаю, что и сам автор не оценил должной мерой свое открытие — именно этим можно объяснить некоторую «стилевую» небрежность фразы, каковую и привожу:

«Социализм не может улучшаться, не подрывая при этом своих основ».

Слово «улучшаться» при строгом подходе к нему должно бы иметь смысл совершенствования экономической структуры, ибо она — база социалистического бытия. Но в таком случае — не подрыв основ, а укрепление их.

Но под «улучшением» автор имел в виду гуманизацию, либерализацию режима. Следовательно, недосказанная суть фразы: социализм в том виде, как он состоялся в России, может существовать сколько-нибудь долго исключительно в жесткой, то есть тоталитарной, форме. Но либерализация режима неизбежна, что легко доказуемо. Следовательно, неизбежен крах, развал,

разрушение, к чему надо готовиться, чтобы предотвратить народную катастрофу.

Предотвратить же ее можно, только вовремя перехватив власть у коммунистов, для чего нужна подпольная организация, способная к определенному времени превратиться в подпольную армию.

\* \* \*

Поздним вечером 17 октября 1965 года в съемной квартирке на Греческом проспекте мы с моим другом Володей Ивойловым сидели друг против друга за небольшим столом, а между нами посередине стола стояла бутылка легкого красного вина... Мы изготовились отметить наше вступление в подпольную антикоммунистическую организацию, нацеленную ни больше ни меньше — на возрождение тысячелетней России!

<...>

## СЧАСТЬЕ

<...>

Счастье — понятие эфемерное, некая мнимая реальная субстанция душевного состояния. Время длительности состояния — от мгновения до весьма скромной суммы мгновений, только и всего. И лишь в ретушированной и сознательно отредактированной ретроспекции оно, счастье, может видаться и смотреться как некий период времени, имеющий вполне впечатляющую длительность.

<...>

Жизнь по определению не может быть счастливой, если она рано или поздно (и очень часто тяжело) кончается. Значит, все дело в мгновениях счастья, но, разумеется, не просто в количественном их значении. Сначала, наверное, обособляется нечто, что почиталось важнейшим в жизни, и это обособленное, как бы заново переосознанное, просматривается, по степени добросовестности памяти, сквозь ракурс успеха, удовлетворения, удачи, счастливых случайностей, наконец,

<...>

Поскольку лично моя жизнь сложилась таким образом, что ни к какому конкретному и нужному делу я вовремя пристроенным не оказался; поскольку прежде всякого выбора жизненного пути или одновременно с тем почему-то озаботился или, проще говоря, заикнулся на проблемах гражданского бытия; поскольку, опять же, такое «заикление» далее уже автоматически повлекло за собой соответствующие поступки и ответственность за них; поскольку все это именно так и было — то чем же мне за жизнь свою похвастаться да погордиться?

Не книжками же моими, которые нынче никому не нужны. Не «тюрьмами и ссылками» — на фоне нынешних людских страданий и крови, проливаемой то там, то тут определенно ни в чем не повинным поколением...

Всего в жизни было в достаточной мере; дивные рассветы разных широт, интереснейшие люди, честные книги, красивые женщины... Искушался ненавистью, наслаждался любовью, преодолевал боль...

Только по пришествии некоего возраста происходит нечто вроде пересортировки жизненного опыта, и за скобки выносятся наиглавнейшее, чем не грех и погордиться.

Когда-то, еще в мордовских лагерях, пытался переводить наиболее известных поэтов бывших советских республик. Так вот, у армянского поэта А. Туманяна обнаружил строки, которые не просто запомнились, не просто запали в душу, но стали как бы рефреном-критерием... Приведу в сокращении и извинюсь за непрофессионализм перевода:

*Устала мысль от дел и бед мирских.  
Но, в бесконечность устремляя взор,  
Я каждый раз оглядываюсь с болью,  
Когда услышу голоса страданий  
Моей страны <...>  
И вижу: с Запада  
Бездушной черной тучей*

*Рожденные в трясилах суеты,  
Рабы машин и золота рабы  
К Божественной душе моей отчизны  
Крадутся и теснятся хищной стаей,  
Толпою ненасытных людоедов.  
И одеваются долины в траур.  
И только горькие и плачущие песни  
Среди развалин  
И вытоптаных ложью  
Традиций и обычаев народа.*

.....

*Но в светлый день рассвета и возврата  
Тысяча тысяч нимбоносных душ  
Нам возвестят улыбками надежды  
О возрождении души моей страны.  
И тот, кто в годы бед и испытаний  
Уста свои не осквернил проклятьем.  
Словами чистыми и песней новой  
Прославит душу моего народа.*

Новые песни с чистыми словами — то дело будущих поколений.

О себе же с честной уверенностью могу сказать, что мне повезло, выпало счастье — в годы бед и испытаний, личных и народных, ни в словах, ни в мыслях не оскверниться проклятием Родины. И да простится мне, если я этим счастьем немного погоржусь... ■